

---

## ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ

### 1.

Душа восточного человека: почтение к действительности в действительности и украшение ее в фантазии. — Характер восточного человека определен раз и навсегда. Он никогда не меняется. Выбрав себе путь, он не отклоняется от него. Все, что лежит за пределами этого пути, для него не существует. Все, что мешает ему на пути, ему враждебно. Его раз и навсегда определенный характер уже не меняется, и он не в состоянии, восприняв то, что ему противоречит, примириться с этим. Один господствует, другим управляют. Власть — понятие, в котором все равны. Господство определяет их взаимоотношения, господство силы, гения или слова. Раз и навсегда определенный характер ничего не оставляет за своими пределами, кроме того, над чем он господствует или что господствует над ним. Ибо в нем есть границы, реальности, которые не могут быть сняты и которые не могут находиться рядом с другими, противоречащими им реальностями, рядом с враждебным. Раз границы характера представляют реальности, несоединимые любовью, они должны быть объединены *объективно*, т. е. подчиняться одному *закону*. Равное в действительности — это необходимость, иначе говоря, закон, который над всем господствует. Поэтому-то в восточном характере так тесно переплетаются между собой два с первого взгляда друг другу противоречащих определения: *стремление властвовать*

*над всем и покорное подчинение любому рабству.* Над тем и другим властвует закон необходимости. Господство и порабощение — оба этих состояния здесь на месте, ибо в обоих царствует одинаковый закон власти. На Востоке тот считается счастливым, у кого хватает отваги подчинить себе то, что слабее его, и достаточно ума для того, чтобы не нападать на то, что его сильнее, а в случае необходимости этому сразу же подчиниться. А *мудрым* считается тот, кто уходит от реальности и действует лишь в речах и сентенциях. *Благороден* здесь более образованный, видящий различия и подчиняющий [других] себе лишь настолько, насколько ему со-противлялись. Такой человек ставит себя на одну доску с побежденным в том, что видит над собой и над ним закон необходимости, и в себе, действительном победителе, он уважает возможного побежденного, а в том, кто в действительности подчинен, — возможного владельца. Бесконечное божество восточных людей — это возможность *противоположного*, возможность бесконечного многообразия действительного в качестве возможно властующего или возможно побежденного, это власть, проявляющаяся в *переходах* от отрицательного к положительному и от положительного к отрицательному. События создаются волей и правлением этого божества, и из источника его повеления текут в бездну его власти потоки времен и столетий.

Невелико число тех отношений, в которые вовлекается человек при твердой определенности восточного характера, и все, что появляется, вскоре устанавливается на свое место. Человек с характером, определенным раз и навсегда, не связывается с тем, что ему чуждо. Большую часть того, что может его задеть, он отстраняет. С остальным он вступает в борьбу и либо подчиняет его себе, либо сам подчиняется его силе, но в обоих случаях его претензии не меняются. Спокойствие восточного человека определяется этой неизменностью, этой неспособностью подвергаться разносторонним влияниям многогранности вещей. Поскольку мир для него — собрание реальностей и они представляются ему в виде голой противоположности, без собственной души и духа, ему приходится, помогая им избавиться

от этой скучности, пытаясь заменить недостающее им содержание *чужим, заимствованным блеском*. Восточный человек всегда украшает действительность при помощи силы воображения. Он окутывает каждый предмет в образы. Правда, это тоже образы реальностей, и одна бедность как будто не придает блеска другой, но благодаря их соединению друг с другом они поэтизируются. Объединение неоднородных частей рождает видимость жизни, лежащей в тождественности того, что соединяется. Поскольку различное столь неоднородно, начинает осознаваться то, в чем подобны соединяющиеся части, но все же дать выступить образу чистой жизни они не решаются. Повергает в изумление возвышенная роскошь их изображений, ослепляет солнечный свет, исходящий от их картин. Но источник этого изумления как раз в том, что ощущается наственный характер этого объединения неоднородных частей; источник ослепления в том, что к этой роскоши объективного нельзя предъявить никаких требований; поскольку здесь отсутствует любовь, ощущается пустота всего этого — жемчужины восточного духа лишь прекрасные в своей дикости чудовища. Там же, где объективность жизни, отрещившись от многообразия, выступает как единство, оно может быть лишь понятием, тем общим, чем полны их картины.

Определенность характера не допускает многообразия характеров. Многообразие определенностей само разбило бы себя. То же, что лежит за пределами этих определенностей, должно действовать как нечто невидимое, высшее и *чудесное*, хотя на деле оно подобно этим определенностям, только глубже и сильнее их. В структуре эфемерных или стабильных восточных империй, в системе повиновения и субординации этих диких масс ясно выступает власть восточных, а значит, и однородных, но сильных, глубоких и упорных характеров над другими восточными людьми, как и пассивность последних, доходящая почти до уничтожения. Отсюда же вытекает *значительность*, а следовательно, и *скучность и серьезность речи* как выражение невидимой и непознаваемой в себе жизни.

Подобно тому как восточные люди украшают фантазией голую действительность иных предметов, так же, недостаточно осознавая самих себя и не находя успокаивающего единства в изображении своей природы, они должны безмерно перегружать самих себя чужим убранством. Их *украшение* не может быть одеянием, обязанным своей формой и красотой человеческому образу и свойственной ему свободной игре. Оно состоит из совершенно чужих человеку предметов. Когда украшают себя тем, что нравится, исходя из собственного восприятия, возникает некая естественная целостность. Не то у восточных людей, которые украшают себя тем, что не имеет никакого отношения к их жизни и к сформированному жизнью образу. Это блестящие предметы, золото, цветы из драгоценностей и т. д.

У восточного человека из естественного было изгнано как раз естество; оно выступало в форме подлого и подчиненного. Единственной страстью и наслаждением, несводимым к власти, была женская душа и *любовь к женщинам*. У многих восточных народов считается бесчестием — особенно среди аристократов — упоминать о женщинах и о том, что к ним относится. Дело либо в том, что здесь даже самые смелые не чувствовали себя властителями, и это напоминало им об их слабости, либо в том, что никто этой слабости перед самим собой не стыдился, а бесчестием считалось лишь упоминание обо всем, что относится к этой стороне человеческой природы, ибо они почитали женское как нечто чуждое их духу и их превосходящее и боялись, что упоминание приведет к тому, что оно переместится в класс множества обычных вещей. Чувствуя, что отношения с женщинами не могут быть такими же, как отношения с другими вещами, исчерпывающиеся господством и подчинением, что с ними невозможно обращаться таким же образом и испытывать ту же уверенность, они не сумели придумать ничего иного, *как запереть их*.

У евреев не было этого страха. Они свободно и без обиняков говорили об отношениях между полами, но все, что к этому относится, как и все остальное, является для них просто действительным, не пронизанным

духом и любовью. Дух не управляет ими и в обращении с этой материей, и поэтому так возмутительно, низменно и постыдно это обращение в их законах и в книгах, составляющих сумму их образования. Ибо чем более свята и чиста одушевляющая сущность, тем более отвратительно отношение к ее органам и выражениям как к простым вещам.

Восточный человек чтит бороду. У евреев головы посвященного богу не должен был касаться нож брадобрея. Каждый седьмой, а может быть, и каждый пятидесятый год был посвящен богу, и в эти дни ни одно поле не следовало возделывать, ни одну лозу — обретать и ни с одного виноградника нельзя было собирать виноград. Добровольными дарами земли могли свободно пользоваться рабы, домашние животные и дикие звери. Давать рости бороде — большой произвол. Конечно, она — часть тела, но лишь в очень незначительной мере, и в этом отношении стрижка ногтей представляет собой не меньшее калечение тела, чем стрижка бороды, а обычное у восточных людей и обязательное для евреев обрезание калечит тело, несомненно, сильнее. Следовательно, сохранение бороды не может считаться признаком уважения к полноте человеческого облика, и такому уважению противоречит стремление спрятать этот облик под безвкусные одежды и навесить на него блестящие разнообразные украшения. Чем больше произвол, накладываемый на себя в качестве закона, тем с большим упрямством его отстаивают, так же, как за самопожертвованием признается тем больше заслуг, чем больше произвол, которому подчиняются. Но почему восточные люди обременяют себя этим произволом? Почему этому придается такое значение, что даже борода считается чем-то священным? Потому, что восточный дух переносит всю ценность и постоянство на бесконечный объект и ни во что не ставит то, что существует само для себя и обладает в самом себе своей жизнью. Потому-то, стремясь добиться какого-то признания, он вынужден украшать себя извне блестящими предметами и потому-то он больше всего хочет сохранить и больше всего чтит бороду — самое несущественное в его органическом целом и самое безразличное.

## 2.

*Память* — это виселица, на которой висят казненные греческие боги. Показывать галерею таких повешенных, ветром острот раскачивать их одного за другим, заставлять их дразнить друг друга, группировать их по-разному — все это часто называется поэзией.

Память — это могила, в которой хранится мертвчина. Мертвое там поконится как мертвое. Его показывают как собрание камней. Приведение в порядок, проверка, смахивание пыли — хотя все эти занятия и относятся к мертвому, но они от него не зависят.

Но бормотать неразборчивые молитвы, читать мессы, перебирать четки и исполнять лишенные смысла церемонии богослужения — дело мертвого. Человек пытается полностью превратиться в объект и дать управлять собой чужому. Такое служение называется молитвой. Фарисеи!

## 3.

*Плакальщицы* при торжественных похоронах погибших в первую пелопоннесскую войну. Фукидид, В, 34: *cai gynaices pareisin hai prosēcoysai epi ton taphon olophugomenai*<sup>1</sup>. Лучшее облегчение боли в том, чтобы ее выкричать, высказать ее целиком. Выражение делает боль объективной и восстанавливает равновесие между тем, что только и существует субъективно, и объективным, в боли не существующим. Только в выражении она осознается, а то, что осознается, потом уходит. Оно приобретает форму рефлексии и вытесняется последующими определениями. Но когда душа полна и боль целиком еще субъективна, места ни для чего другого не остается. И слезы тоже такая разрядка, такое выражение и объективация боли. Боль, став субъективной и объективной, делается образом. Но поскольку боль по природе субъективна, ей претит выходить из самой себя. К этому ее может принудить лишь крайняя нужда. Но когда эта нужда проходит, когда все потеряно и боль, превратившись в отчаяние, замыкается в самой себе, тогда великое благодеяние — вы-

вести ее наружу. Этого нельзя достичь чужеродными средствами. Лишь отдавшись себе, боль ощущает себя как самое себя и как нечто отчасти внешнее. Картина не может так действовать. Боль лишь видит ее, но сама остается неподвижной. Речь — это чистейшая форма объективности для субъективного. Она еще не представляет собой ничего объективного, но в ней есть движение к объективности. У жалобной песни есть к тому же форма прекрасного, ибо она движется по правилу. Жалобные песни плакальщиц поэтому самое человечное для боли, для потребности от нее избавиться, глубочайшим образом ее раскрывая и показывая ее себе во всем объеме. Только это может служить бальзамом.

#### 4.

Фукидид, В, 36: *ta de pleō̄ aytes (hosēn echomen archēv) aytoi hēmeis. Hoi de, hoi pyn eti ontes malista*<sup>2</sup>. Так может говорить лишь народное собрание маленького свободного государства. Из его уст и перед ним это «мы» вполне правдиво. В больших республиках справедливость такого выражения всегда очень ограничена. «Мы» для тех, кто это произносит, тем более чуждо, чем более велико число их сограждан. Участие в деле каждого отдельного человека так незначительно, что он почти не может о нем говорить как о своем деле. Участие в славе своей нации больше, но оно означает только я принадлежу к нации, а не я есмь. Целое господствует над ним. Поэтому свободный большой народ — противоречие в самом себе. Народ — это общность всех единиц, и над каждой из них всегда господствует целое. Дело отдельного человека, то, что является делом каждого, — бесконечно малый фрагмент национального действия.

#### 5.

Прежде чем Ликург после десятилетнего отсутствия вернулся в Спарту, чтобы осуществить завершенный план своего законодательства, он обратился с вопросом

о нем к дельфийскому оракулу. Пифия от имени Аполлона назвала его другом и любимцем богов. Она сказала ему, что он бог больше, чем человек. Она объяснила ему, что Аполлон одобряет его план, и сказала, что если он добьется принятия своих законов, то во всем мире ни одна республика не будет устроена лучше, чем Лакедемонская.

После того, как он постепенно ввел свои законы, он снова обратился к оракулу, и тот сказал, что он достаточно позабылся о том, чтобы сделать лакедемонян столь же счастливыми, сколь и добродетельными, и, что если они будут неуклонно соблюдать его законы, им обеспечена вечная слава и счастье.

Если бы лакедемоняне и остальные греки были способны подчиняться божественным законам или даже только составить себе понятие о них, то разве не должны были бы лакедемоняне обязать остальных греков — или по крайней мере попробовать убедить их — принять их конституцию, объявленную всеми признанным оракулом самой совершенной? Но греки были свободным народом, *не позволявшим даже богу давать им законы*. Мотив утверждения божеством был им чужд.

## 6.

После заката римской и греческой свободы, когда у людей было отнято господство, осуществлявшееся их идеями над объектами, гений человечества разделился. Дух *развращенного большинства* сказал объектам: я ваш, берите меня! Он бросился в их поток, дал им себя увлечь и исчез в их смене.

Противоположным образом поступил дух *стоиков*. Он сказал: вы чужды моей сущности, ничего о вас не знающей; в моей идее я господствую над вами; будьте какими хотите, мне это безразлично, я слишком вас презираю, чтобы прикладывать к вам руки.

*Остальные* духи чувствовали, что объекты должны быть иными, но им не хватало мужества, чтобы овладеть объектами и их переделать. Превосходство сил объектов на них давило и оставляло у них только чувство собственного бессилия. Часть этих духов создала

себе в мечтах невидимые объекты. На эти объекты, найденные в народном безумии, были перенесены идеи этих духов, и к ним они обратились с мольбой: примите нас в свое лоно, явитесь нам, откроитесь нам, возьмите нас к себе и управляйте вы нами! Эти духи назывались *теургами*. А другая часть духов, услышав об одном из таких новых объектов, спаслась от внешних объектов, в которых ей было отказано, и бросилась в объятия веры, провозглашая, что это невидимое управляет самим собой и внешними объектами. Такие духи назывались *христианами*. Развившаяся церковь объединила желания стоиков со стремлениями этих духов, сломленных в себе самих. Позволяя человеку жить в вихре объектов, она в то же время обещает ему, что при помощи легких упражнений, приемов, дрожания губ и т. д. он может над ним подняться. Стремления теургов лишь эпизодически приходили на ум так называемым христианским *мечтателям*. Это объединение так никогда и не стало ремеслом, подобным остальным ремеслам.

## 7.

В ряду проявлений бога или в эволюции его образов проявлению бога как *человека* предшествовали его проявления как солнца, звезд, моря, воздуха, любви. В последовательности этой эволюции образ человека был необходим. Создание Римского государства, отнявшего свободу почти у всей известной тогда земли, подчинило природу чуждому человеку закону. Связь с ней была нарушена. Ее жизнь превратилась в камень и дерево, боги — в созданные для службы существа. Сердце и характер человека переместились туда, где возвышались власть и величие и где совершались благодеяния. Для афинян Тезей стал героем лишь после смерти. Деметрию и Антигону они приносили жертвы только после их кончины. Римские же цезари обожествлялись при жизни. Аполлоний Тианский творил чудеса<sup>3</sup>. Великое стало уже не сверхъестественным, а противоестественным, ибо природа утратила божественность, а вместе с ней красоту и свободу. Когда *природа отдели-*

*лась от божественного*, человек стал связующим звеном, т. е. примирителем и избавителем.

А евреев в гнусной ненависти отправили в ад. Та их часть, которая и позже продолжала блуждать по земле, превратилась в символ. Поскольку среди новых народов должны быть представлены все формы человечества (благородные, правда, лишь в страдании), то и этот народ находится среди них как идеал отверженности. В разнообразном гомеровском мире — в его низах — находится и Терсит<sup>4</sup>, способный лишь на то, чтобы болтать вздор. Но после того как его побили, он плачет и, полный страха, садится и молча вытирает слезы. Его страх и его молчание являются признанием более могущественных человеческих существ. По крайней мере эта восприимчивость к лучшему должна была остаться даже у худших гомеровских людей. Но в мире нового человечества рядом с небесно-чистой душой Амалии есть Шуфтерле<sup>5</sup>, поджаривающий детей на огне, и, когда атаман, осознав свою участь, грозит разбойникам ужасной проверкой, они считают, что он сегодня в плохом настроении. В этом смешении различных видов, которые, взятые вместе, систематик назвал человеком, у еврея есть свое место. Кто-то из евреев заставил бога добродушно сказать: того, кто не исполняет моих повелений, я буду преследовать до третьего и четвертого колена. Но фурии их религии бичуют уже сотое их поколение. Возможно, однако, они не считают себя наказанными, когда христианин спускает их с лестницы, ибо ради прибыли в два крейцера евреи согласны вынести любое обращение.

## 8.

Тонкий вкус и лишенный предрассудков разум, умея ценить благородство греческого духа во всем его объеме и во всех его проявлениях, видят в нем все же один недостаток, именно *отсутствие благородства в любовной страсти*. В новой истории среди народов немецкого происхождения эта страсть приобрела совершенно иной и более возвышенный облик. Не связано ли это явление с духом их более свободной жизни? Если бы

средневековый рыцарь рассказал Аристиду о делах, которые он совершил ради своей возлюбленной, об испытаниях, которые он ради нее вынес, о долгом ряде лет, каждое мгновение которых было посвящено выполнению цели, которую поставила перед ним его возлюбленная, и если бы при этом он оставил Аристида в сомнении относительно предмета этой деятельности; или если бы благородный молодой человек столь же неопределенно, но со всем пылом воображения обрисовал тому же Аристиду красоту своей возлюбленной и описал глубокое почтение, которое он к ней питает, святость и чистоту своих чувств, воодушевление, которое он испытывает от ее близости, и рассказал бы о том, что единственный интерес, который есть у него в жизни, — это работать и дышать для нее, — разве Аристид, не зная, кому посвящены все эти чувства, дела и воодушевление, не ответил бы так: я посвятил жизнь моему отечеству, я не знал ничего, что было бы выше его свободы и блага, я трудился ради этого, не притязая ни на награды, ни на власть, ни на богатство, но я признаю, что не сделал столько и никогда не испытывал столь всеохватывающего и глубокого благоговения. Я знаю греков, сделавших больше меня и с более высоким воодушевлением, но я не знаю никого, кто поднялся бы до такого величия самопожертвования, которого достигли вы. Чему же посвящена ваша высокая жизнь? Это должно быть что-то бесконечно более великое и достойное, чем высшее из того, что я могу себе представить, — отчество и свобода!

9.

Необузданная сила воображения женщин средневековья нашла выражение своему неистовству в мерзостях колдовства, в стремлении выместить на других свою ненависть и мелкую зависть. Это и приводило их на костер. Женщины Греции могли выразить свою ярость в вакхических празднествах. Изнемогши телом и воображением, они спокойно возвращались в круг обычных восприятий и будничной жизни. Дикая менада<sup>6</sup> в остальное время была разумной женщиной. Там

ведьмы, здесь менады, там фантазия представляет себе дьявольские рожи, здесь прекрасного, увенчанного виноградными лозами бога. Там с этим связано удовлетворение чувств зависти, ненависти и стремления отомстить, здесь — ничего, кроме бесцельного, доходящего до неистовства наслаждения; там переход от отдельных припадков безумия к полному и окончательному разрушению духа, здесь — возвращение к обычной жизни. Там смотрели на этот вид неистовства не как на болезнь, а как на святотатственное кощунство, которое может быть искуплено только на костре, здесь эта потребность женской фантазии и темперамента рассматривалась как нечто священное. Отводя ее взрывам специальные праздники, санкционированные государством, создавали возможность ее обезвредить.

## 10.

*Презрение к людям.* Каждый привык судить другого по правилам, составленным им для человечества, и требовать, чтобы он этим правилам соответствовал. Нас удерживает от этого только долгий опыт или избыток сердечной доброты. Подобное требование свойственно главным образом европейцам. Это своего рода упрямство. Публичная оценка характеров (например, какого-нибудь Руссо) по правилам разума — признац нашего времени и ничего более. Это не говорит ни о высокой культуре, ни о приближении к цели человечества, совершенству. Не говоря уже о том, что каждый прежде всего должен посмотреть на себя, лишь одна добродетель составляет для себя правила, и лишь она может судить и требовать, но ни один человек по отношению к другим не имеет права ставить себя на место добродетели и предъявлять к другим требования в качестве ее представителя. Такому каждый может ответить: этого имеет право требовать от меня добродетель, но не ты.

## 11.

*В государствах нового времени обеспечение собственности* — это ось, вокруг которой вращается все зако-

нодательство и с которой так или иначе соотносятся большей частью права граждан. В некоторых свободных республиках древности самой конституцией нарушалось то право собственности, которое составляет заботу всех наших властей и гордость наших государств. В лакедемонской конституции обеспечение собственности и ремесла было тем пунктом, на который почти не обращали внимания и который почти, можно сказать, был забыт. У богатых граждан Афин обычно отнимали часть их имущества. Но при этом избирали предлог, почетный для того, кого хотели обобрать, а именно его ставили на должность, требовавшую огромных расходов. Если в одной из триб, на которые были разделены граждане, кто-то был избран на такую должность, он имел право искать в этой трибе человека более богатого, чем он. Если он считал, что нашел такого, а тот утверждал, что он менее богат, ему можно было предложить обмен имущества, и он не имел права от этого отказаться. Пример Перикла в Афинах показывает, как опасно может быть неумеренное богатство некоторых граждан даже для самой свободной формы конституции и как оно может разрушить саму свободу. Об этом же говорит и пример патрициев в Риме, гибель которых тщетно пытались предотвратить Гракхи и другие при помощи проектов аграрных законов, как и пример Медичи во Флоренции. Было бы важно установить, в какой мере правом собственности следует жертвовать ради установления стабильной формы республики. Может быть, были несправедливы по отношению к системе санкюлотизма во Франции, когда приписывали хищным инстинктам те меры по установлению имущественного равенства, которые там намеревались осуществить.

## 12.

В Италии, где политическая свобода выразилась в более чистых формах и в более прекрасных чертах, чем в Германии, но и утрачена была несколько раньше, чем в Германии, правоведение в Болонье поднялось раньше поэзии. Благороднейшие люди народа, устрем-

лявшиеся туда со всех сторон, удовлетворялись тем, что становились у себя на родине учеными и добро-совестными судьями, ибо *лишь на судейском кресле они были слугами идеи, слугами закона; в других местах они были слугами определенного человека.*

В средние века в Средней и Верхней Италии связь людей с государством была крайне несовершенной и шаткой. История Италии в это время, собственно, не история одного народа или многих народов, а скорее история *множества индивидов*, и, поскольку в этой картине мы не видим больших масс или же они, появившись на короткое время, сразу же снова распадаются, крайне трудно найти здесь общезначимую точку зрения. Тем интереснее история отдельных людей, ибо их индивидуальность не растворяется в общих формах государства и конституции. Людей объединяет обычно лишь мгновенный интерес. Редко встречаем мы объединение, созданное на основе какого-то постоянного интереса. Все раздоры возникают из-за прав отдельных родов и людей, и их никогда не удавалось заставить отказаться от своих прав ради общественного блага. Совместная жизнь в городах представляла собой в большей мере пребывание в том же пространстве, в тех же стенах, чем подчинение тем же законам. Власть была слаба. Никакие идеи еще не господствовали. Не только равнина была покрыта бесчисленным количеством замков, построенных для безопасности их обитателей, но и дворцы знатных фамилий в городах были укреплены башнями и другими приспособлениями, предназначенными на случай осады. *Свершение справедливости было не чем иным, как победой одной группировки над другой.*

### 13.

*Публичная казнь.* Монтескье, говоря о японцах, замечает, что множество публичных и к тому же жестоких казней способствует одичанию характера народа и тому, что он начинает проявлять равнодушие и к наказанию, и к преступлению. Почему получается, что результат противоположен той цели, которую пытались

достичь законодатель и судья при помощи публичных наказаний, а именно внушить ужас перед преступлением? Неужели смерть от руки палача, страх смерти, всеобщее презрение или, что для некоторых еще страшнее, всеобщее сострадание перестают быть ужасными и отвратительными только в силу привычки? Привычка могла бы вызвать лишь такое равнодушие, как у воина, по правую сторону от которого падает тысяча, а по левую — десять тысяч человек. Но что бросается в глаза прежде всего при казни и какие возникают при этом ощущения?

Нам бросается в глаза безоружный человек, связанный и окруженный многочисленной стражей и гнусными помощниками палача. Его, безоружного, выводят под крики и молитвы жрецов, которые повторяет казненный, чтобы притупить сознание настоящего момента. Так он умирает. Солдат, который падает, сраженный мечом или невидимой пулей, не взвуждает в нас того ощущения, которое появляется при казни преступника. Я думаю, что в это последнее мгновение мыствуем, что у человека отнято *его право бороться за свою жизнь*. Человека, погибающего в борьбе с другим, мы можем жалеть, но здесь нет для нас этого оскорбительного момента, ибо он воспользовался своим естественным правом бороться за свою жизнь. И пад он тогда, когда его противник утверждал за собой это же право. Возмущение, возникающее при виде казни множеством вооруженных одного безоружного, лишь потому не превращается у зрителей в ярость, что они *свято почитают приговор закона*. Но это представление не способно полностью уничтожить непосредственное впечатление, возникающее при виде казни. Хотя палачи — слуги справедливости, но одно это представление не сумело уничтожить общего чувства, заклеймившего печатью *бесчестия* ремесло или сословие людей, которые, выполняя свою службу как слепые орудия, могут хладнокровно убить безоружного на глазах у всего народа. И сколько бы просвещенный разум ни объявлял предрассудком этот голос народа и темное чувство, из которого он исходит, и сколько бы он ни повторял, что при

анализе этого чувства он не находит никакого разумного его основания, сколько бы ни говорил, что, напротив, палачи как слуги государства и справедливости, выполняющие свой долг, ничем не отличаются от других чиновников, ему не удастся справиться с этим чувством, как не удалось ему справиться и с некоторыми другими чувствами. Но тот, кто верно мыслит, всегда будет отличать от ремесла, возбуждающего его отвращение, человека, к которому следует относиться справедливо, даже желая, чтобы он сменил ремесло, подобно тому как, даже будучи убежденным в мерзостном характере привычек и нравов народа, нельзя считать плутом каждого отдельного его представителя, с которым имеешь дело.

Замечено, что те, кто принадлежит к этому сословию, большей частью тихие, честные и благочестивые люди. Следствие ли это их занятия, самым непосредственным образом показывающего, какое наказание следует за преступлением, сказывается ли здесь стремление спасти свою личность от презрения, которым окружено это сословие, или чувство, что достоинство личности не зависит от того, как относятся ко всему сословию?

Я никогда не слышал, чтобы среди греков произошли публичные казни. Сократ по крайней мере выпил свой кубок с ядом в тюрьме, и Орест у Еврипода должен сам себе выбрать род смерти и сам исполнить приговор. Если бы сейчас кто-нибудь предложил отменить публичную смертную казнь, то в ответ ему тысяча языков закричала бы, что тем самым была бы утрачена основная цель наказания — быть *примером для других*. Греки как будто не думали, что это цель наказания, и их законодатели не считали, что, потрясая жестоким зрелищем чувство и воображение, можно достичь того, что не удается сделать при помощи внутренней нравственности и уважения к законам. Утверждение необходимости жестоких публичных наказаний доказывает лишь, что законодатель и судья мало доверяют нравственному чувству своего народа.

Так же громко возражали бы против этого предложения исходя из того, что *бессовестному судье легче*

творить несправедливость, если смертные приговоры не приводятся в исполнение публично. Деспотизму удобнее было бы убивать в темноте, чем публично. (Все ли казни производились в Венеции тайно или только казни государственных преступников?) Гражданам государства, где боятся этого, возразить нечего. Вообще в каждом государстве, где жизнь гражданина решает за закрытыми дверями суд, не избранный народом из своей среды, подданным крайне желательно, чтобы у голоса общества осталась эта тень значения, ибо перед публичной казнью зачитывается обоснованный приговор, что необходимо для суда, чувствующего как бы потребность оправдаться в глазах народа. Но это соображение отпадает в тех государствах, где у гражданина есть право требовать, чтобы его судили те, кто ему равны.

#### 14.

Характер Юма как историка нового времени определяется характером самих событий. Предмет его истории — государство нового времени, внутренние отношения в котором не только определяются законами (это было и у древних), но и больше зависят от правовой формы, чем от наполняющей их бессознательной свободной жизни. Хотя место различным сословиям указывает право, сознание общности и одновременно противопоставления и особенности, но люди в своих действиях не выступают как полные люди, воодушевленные одной *идеей*. Их силу, правда, составляет эта невидимая идея, но до сознания прежде всего доходит их внешнее отношение к тем, кто действует вместе с ними, как к *приказывающим* или *повинующимся* в различных *видах* и *градациях* дела. Государство со всем разнообразием своих отношений всегда над теми и вне тех, кто стоит во главе и о делах кого нам рассказывает история. Оно в них как мысль. Оно определяет их, из него они исходят в своих расчетах и его видят в своем сознании. Поэтому мы видим в действии не столько *характер*, сколько *соображения*, исходя из которых он действует. Сами его действия большей частью сводятся к приказу или повиновению. А кроме того,

что государство играет определяющую роль как мысль, никто не осуществляет ни одного действия *целиком*.

Поскольку целое действия расцеплено на множество частей, причем каждому действующему лицу принадлежит лишь фрагмент, все дело является результатом многих отдельных действий. Труд осуществляется *не как действие, а как задуманный результат*. Ни у одного из действующих лиц нет сознания действия как целого. *Историк* видит его по результатам, и уже в предшествующих событиях обращает внимание на то, что к этим результатам привело. В качестве *действующих лиц* могут рассматриваться лишь те, кто приказывает или как-то влияет на приказывающих; все остальные лишь оказывают им помощь. Поскольку все упорядочено и господствует *сила этого порядка*, большинство людей играет роль лишь колесиков машины. Живое — *изменение* его организации — *мало, постепенно и невидимо*. Поскольку все здесь определено, то народы не привержены ни к какому великому человеку так, как сицилианцы были привержены к Тимолеону<sup>7</sup>, и никто не может составлять такие всеобъемлющие и отмеченные печатью индивидуальности планы (именно такие планы делают человека великим), как Алкивиад, Фемистокл и т. д. Действие теперь лишь поведение в определенном, заранее заданном кругу.

15<sup>8</sup>.

...Стр. 504. «Там, где путь добра (в обращении протестантов) не приносил плодов, пользовались помощью солдат, чтобы загнать заблуждавшихся обратно в церковное стойло». Основная мысль этого добавления относится к тому, каким образом осуществлялось обращение. Она специально выражена словами «добро» и «помощь солдат». Несмотря на то, что эта же мысль по необходимости должна быть выражена уже *раньше*, где она и бросается в глаза, она вновь высказана в этом *добавлении*, большую часть которого она занимает. Оно, кроме того, находится *сзади*. Из-за этих двух обстоятельств оно, выдвигаясь по сравнению с основной мыслью, обладает недостаточным эмоциональным воздействием. Лишь выражение «запугивать», имеющее отношение к тому, как производилось обращение, в

известной мере исправляет эту ошибку, воспроизводя основную мысль.

Второй период, следующий после этого, снова завершается заключением: «проповедовать евангелие еретикам». Оно несколько затушевывает историческое и вновь внушиает читателю уже достаточно выраженную основную мысль, — а следующий период еще раз кончается «осуществлением цели».

Характеры обрисованы великолепно. Этому соответствуют большие периоды, в которых в некое единство собраны многие черты. Но когда Шиллер пользуется такими периодами для изображения *ситуации*, включающей множество внешних обстоятельств, это производит уже впечатление чего-то неестественного, особенно если идет речь о ситуации как о связи причины и следствия во времени и в пространстве, а не как о едином действии. Отдельные черты в этом случае отстоят друг от друга слишком далеко, они слишком разнообразны. Их единство — это только пункт, к которому они соотносятся в качестве предпосылок...

## 16.

«Dans la monarchie le peuple ne fut une puissance active, que pour le moment de combat. Comme une armée soldée il devoit garder les rangs non seulement dans le feu du combat même, mais aussitôt après la victoire rentrer dans une parfaite obéissance. Notre expérience est accoutumée, de voir une masse d'hommes armés entrer, au mot d'ordre, dans une furie réglée du carnage et dans les loteries de mort et de vie, et sur une même mot rentrer dans le calme. On demanda la même d'un peuple, qui s'est armé lui même. Le mot d'ordre étoit la liberté, l'ennemie de la tyranie, la commandement en chef une constitution, la subordination, l'obéissance envers ses représentants. Mais il y a bien de la différence entre la passivité de la subordination militaire et la fougue d'une insurrection; entre l'obéissance à l'ordre d'un général et la flamme de l'enthousiasme, que la liberté fond par toutes les veines d'un être vivant. C'est cette flamme sacrée, qui ten-

doit tous les nerfs, c'est pour elle, pour jouir d'elle, qu'ils s'étoient tendus. Ces efforts sont les jouissances de la liberté, et Vous voulez, qu'elle renonce à elles; ces occupations, cette activité pour la chose publique, cet intérêt est l'agent, et Vous voulez, que le peuple s'élance encore à l'inaction, à l'ennui?»<sup>9</sup>.

#### 17.

Ахилл умер, раненный стрелой в пятую. С таким же успехом он *мог бы* быть ранен в любую другую часть тела. Рана, нанесенная в эту часть тела, была, таким образом, чистой случайностью. Она была определена направлением стрелы. Но та часть, в которую попала стрела, отличается от остальных частей тела (с которыми она должна быть соотнесена, поскольку она составляет с ними одно целое) как *пораженная* часть. Возможность того, что *могли быть* поражены остальные части, и противоположная этому действительность, состоящая в том, что они поражены *не были*, как и действительность того, что Ахилл был ранен в пятую, и противоположная этому возможность того, что он не был бы ранен, — все это греки увековечили своей силой воображения в мифе о купании Ахилла в Лете, по которому непораженные части и не *могли быть* поражены, а могла быть поражена лишь пораженная часть.

#### 18.

*Голос у католического священника* почти хриплый. Собственное положение, особое орденское одеяние, отделенность от всех людей и человеческих отношений — все это каждое мгновение вынуждает их мускулы к внутренней реакции и к напряжению самообладания и не выпускает голос из груди, большей частью к тому же впалой. Из их глотки раздается тонкий и нечистый визг. У протестантских проповедников торжественный голос обычной жизни. Когда же католический голос напрягается до громкой проповеди, он становится визжающим, скулящим, кричащим.